

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Р 82

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Рубина, Дина.**

Р 82 Я кайфую : повести ; рассказы / Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2015. — 256 с. — (Дина Рубина. Собрание сочинений).

ISBN 978-5-699-73784-0

«Однажды, разбирая свою тумбочку со старыми папками, афишами, блокнотами и записными книжками и вынужденная сортировать весь этот хлам, я была поражена и даже растеряна количеством всевозможных «отходов производства». Я листала страницы записных книжек и наткнулась на давно забытые историйки, мимолетные образы, случайно подсмотренные гримасы, случайно подслушанные фразочки, незавершенные сценки. Как в мастерской формовщика, валялись вокруг меня чьи-то руки, головы. Только не гипсовые, а живые, давно подсмотренные, описанные и позабытые. «Непорядок», - подумала я, будучи человеком мастеровым, то есть хозяйственным. Выяснилось, что на материале этого барахла отлично думается, рассуждается, вернее - «разговаривается»... Что один образ или мысль тянет за собой другие и получается довольно интересный разговор на ту или иную тему... а по жанру какое-то недоразумение: очерк не очерк, эссе не эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, домашнее...

*Д. Рубина*

**УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4**

**ISBN 978-5-699-73784-0**

© Рубина Д., 2015  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2015

Мир существует, чтобы войти в книгу  
*Малларме*



## ■ У писателя...

У писателя, как у любого мастерового человека, после окончания серьезной работы всегда остаются отходы производства: не вошедшие (по разным соображениям) в повесть, рассказ или роман эпизоды, образы, диалоги, детали... Все это годами копится в блокнотах и записных книжках, «остывает» — ведь ты отдаляешься во времени от написания своих вещей — и, наконец, забывается...

Но иногда, случайно, наткнешься вдруг на такой неиспользованный образ или диалог — и задумаешься, и обязательно мысль побежит дальше, дальше, отыскивая новые дорожки, рождая новые ассоциации. И давние какие-то картинки, давние слова или детали вдруг освещаются совсем с другой стороны. Вернее, на них просто падает ответ сегодняшнего дня. Эге, думаешь ты со сметкой мастерового, а ведь эта рухлядь еще может послужить...

У нас во дворе — а это был большой двор большого южного города (о Ташкенте мне еще предстоит написать) — жили самые разные личности, которые как-то запоздало проявля-

ются сейчас в моей памяти (так медленно в ванночке с проявителем возникают на фотобумаге человеческие лица). Мне даже интересно — где они до сих пор пребывали, если много лет я о них не то что не вспоминала, но даже не подозревала, что помню, даже не подозревала, что они существовали...

Так вот, эти люди проявляются, двигаются, живут и, главное, изрекают что-то, что вдруг изумляет меня, сегодняшнюю, озаряет тот или иной затененный уголок памяти и даже ненавязчиво подсказывает ответ на иной, мучающий меня вопрос.

Так вот, в нашем дворе среди прочих фигур и лиц разной плотности (ведь речь идет о моей памяти, то есть, о царстве теней) жил пожилой балбес Коля Шендерман.

Биография у него была бурная, но не романтически, а идиотски бурная, многожды он сидел по самым дурацким поводам и, в конце-концов, пристроился грузчиком на овощной склад. Из ворованных, как я понимаю, фруктов его старая мамаша варила в огромном зеленом баке компот, который потом, сидя у ворот, Коля продавал в жаркий день в розлив на стаканы.

Ему говорили:

— Немного имеешь с базы, Коля, а?

Он бодро отвечал:

— Чего там имею! Усушка-утруска, падалица... товар на выброс.

А был еще Залман, человек с трясущимися руками. Он работал где-то в пригороде, в каком-то подпольном еврейском цеху, где шили подушки. Цех, разумеется, работал на левом сырье, краденном с какого-то крупного предприятия. Так вот, Залман

утаскивал оттуда разной величины обрезки (то есть крал отходы однажды уже украденного, возводил преступление в степень, или наоборот, отменял одним преступлением другое — минус на минус — в этом тоже есть что-то экзистенциальное, а? во всяком случае, есть над чем подумать), и своими трясущимися руками шил каких-то зверушек — слоников, собачек, — которые во дворе и окрестных переулках пользовались успехом.

— Человек с руками, — говорил он, — берет лоскутки-обрезки и делает полезную вещь...

Кстати, до сих пор, когда я слышу про кого-то — «человек с руками», я представляю трясущиеся руки Залмана.

И был дядя Фима, плотник, честнейший, но всегда пьяный человек, он мастерил вертушки. Если кто не знает — объясняю. Объясняю, потому что не уверена, что это не специфически ташкентская игрушка.

Итак: берем две палочки, делаем — как в детстве говорил мой сын — «наш советский крест» и на трех концах кнопочками или гвоздиками слабо прикрепляем розочки из скрученной разноцветной фольги. Чем быстрее бежишь, тем яростней и веселей вертятся розочки. Вертушка стоила полтинник или тридцать копеек. Дядя Фима считал это пустяковым приработком и все пропивал.

— А! Счепочки... — бормотал он...

Однажды, разбирая свою тумбочку со старыми папками, афишами, блокнотами и записными книжками, и вынужденная сортировать весь этот хлам, я была поражена и даже рас-

теряна количеством всевозможных «отходов производства». Я листала страницы записных книжек и натыкалась на давно забытые истории, мимолетные образы, случайно подсмотренные гримасы, случайно подслушанные фразочки, незавершенные сценки. Как в мастерской формовщика, валялись вокруг меня чьи-то руки, головы. Только не гипсовые, а живые, давно подсмотренные, описанные и позабытые. «Непорядок», — подумала я, будучи человеком мастеровым, то есть хозяйственным.

Выяснилось, что на материале этого барахла отлично думается, рассуждается, вернее — «разговаривается»... Что один образ или мысль тянет за собой другие, и получается довольно интересный разговор на ту или иную тему... а по жанру какое-то недоразумение: очерк—не очерк, эссе—не эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, домашнее...

После третьей или пятой такой вещицы я задумалась — как же, все-таки, это обозначить? «Назови «Свободный полет», — посоветовал муж.

«Да ну, — возразила я, — уж точнее будет «Свободный треп.»

Эти легкие, необремененные «мучительными вопросами бытия», вещицы я стала читать на своих выступлениях, и вскоре обнаружилось, что публика относится к ним благосклонно.

Более того.

— Почему бы вам не опубликовать все это, — убеждают меня. — Это и забавно, и грустно, и поучительно. Из таких вот неприятельных картинок складывается общая картина жизни, и даже в чем-то проясняется и детализируется картина эпохи.

И, все-таки, я долго не решалась включить в какую-нибудь свою книгу этот «свободный треп».

Не могу отнестись всерьез к отходам, даже когда они меня кормят. Видно, так уж устроен мастеровой человек. Вторсырье для него изначально понятие бросовое. Поэтому, стесняясь, я решила отделить, выгородить в небольшую книжку отходы своего производства, полагая все же, что некоторую пользу они принести могут.

— Усушка-утруска, — бормочу я, перелистывая страницы давней записной книжки, — лоскутки-обрезки... Щепочки...

## ■ Я — офеня

Поем мы или играем, пляшем или пишем, читаем лекции или рисуем картины, суть одна: мы как есть трубадуры, и давайте хоть без особой чести выходить из этого положения.

*О'Генри, «Последний из трубадуров»*

Офеня: ... ходебщик, контюжник, разносчик с извозом, коробейник и мелочник, щепетильник, торгаш в развозку и в развозку по малым городам, селам, деревням, с книгами, бумагой, иглами, сыром и колбасой, серьгами и колечками.

*В.И. Даль*

Я — офеня.

Сыр и колбаса, положим, нарезаны на бутерброды и лежат в сумочке на случай опоздания самолета (поезда, автобуса), серьги в ушах, а колечки — на пальцах... но в

остальном я, конечно, тот самый ходебщик, торгош в раз- носку и развозку по малым и большим городам. То есть, я — разъездной себе литератор, промышляющий на соб- ственных вечерах продажей собственных книг. Такова реальность моего бытия.

На этих днях в Москве у меня выходит книга. По дого- вору с издателем я должна получить определенное коли- чество экземпляров. Моя московская приятельница ру- гает меня по телефону.

— Почему вы не настояли на гонораре! — возмуща- ется она. — На черта вам книги сдались, торговать вы ими станете, что ли?

И я, запнувшись на мгновение, смущенно:

— В общем-то... да. Стану.

Вернулся из очередной гастрольной поездки Игорь Губерман, позвонил и сказал:

— Чего ты сидишь? Езжай в Германию, там сейчас все только разворачивается, куча нашего народу подвалила. Заработаешь, я наводки дам. Дранг нах остен, — гово- рит. — Гот мит унц, Германия превыше всего.

— Ты-то как съездил? — спрашиваю.

— Сорок концертов. Теперь, — говорит, — я понимаю, почему публичные девушки наутро бывают угрюмы... Ты после окончания турне не сразу возвращайся, добавь се- бе дня три.

— На музеи-экскурсии? — спрашиваю.

— Какие музеи! Будешь спать и пить. Пить и спать. Чтоб расслабиться.

— Чего пить? — не поняла я.

— Водку, дура! — проговорил он устало.

...Иногда я думаю — ну что ж, ведь вот и артисты живут этой собачьей разъездной жизнью, и ничего, радуются гастролям, выходу на сцену, лицам в зале...

Хотя и у них всякое бывает. Актер Женя Терлецкий рассказывал, как однажды они с театром возвращались поездом в феврале из Сочи с довольно неудачных гастролей.

Вышел он в тамбур покурить, а там, в характерной такой присядке — на корточках — сидит ну явно уголовный элемент и тоже курит. И Женька стоит, курит. Тот спрашивает — что, мужик, хмурый такой? Женька говорит — мол, так и так, возвращаюсь с неудачных гастролей.

Тот присвистнул, сплюнул: — Ну ты даешь, мужик! Кто же в Сочи в феврале на «гастроли» ездит!

А когда Женька, улыбнувшись, объяснил — что это за гастроли, тот задумался, покивал:

— Интересная у тебя профессия, мужик. Вот у меня братан артист, так я его пять лет не видел, и ни хера не соскучился!

Нет-нет. Актерство — другая профессия, другой темперамент, иные приводные ремни к тому, что называется мироощущением. Писатель — профессия оседлая, сокрытая, непубличная.

А у меня еще и характер «оседлый». Даже мысль о скором отъезде приводит меня в страшное раздражение. Когда уезжаю, а потом возвращаюсь, я долго привыкаю

к собственному дому, долго вспоминаю — куда подевала нужные бумаги и вещи... Почему-то любой отъезд, любая, даже краткосрочная, отлучка у меня — «прервалась связь времен»... К тому же, по моему глубокому убеждению, писателю вообще негоже показываться публике на глаза.

Не в том смысле, что — «ты царь, живи один», а в том, что для работы это ничего не дает. Только вредит. Публике ведь не считаешь новый роман страниц на четыреста, на который ты ухлопала несколько лет жизни. Публику утомлять не след, вот и кувыркаешься. Читаешь коротенькие забавные рассказы пятнадцатилетней давности, от многократного чтения которых у тебя вырабатывается стойкий рвотный рефлекс. Повторяешь зазубренные «связки», травишь байки, якобы только что пришедшие на память. Изображаешь во все лопатки живой увлекательный диалог.

А в это время боковым таким, ироничным сознанием память бежит-бежит, выхватывает из своих запасников и показывает тебе же полузабытые картинки. Например, пьяную тетягалью между двумя потоками несущихся машин.

Она жила у нас во дворе, опустившаяся Мальвина. Была простой милой женщиной. Убирала «по людям». Вымоет одну квартиру, получит рубль, вымоет вторую — второй рубль, вот она и счастлива. Выпьет бормотухи и «выступает». Буквально, не в переносном смысле: любила выступать.

Пела высоким ломким голосом романсы и советские песни, особенно Пахмутовой. Для этого выбирала возвышение — интуитивно понимала, что номер требует сцены.

Обычно это бывало крыльцо нашего подъезда или ступени гастронома в доме напротив. Иногда она взбиралась «на фонарь» — посреди двора стоял деревянный столб с несколькими железными скобами. ТетьГали залезала на две-три скобы (это было достаточно высоко и опасно, спяну можно было грохнуться и кости переломать), одной рукой держалась за железную скобу, другую простирала к зрителям, широко поводила ею в такт мелодии... А любимый номер был: «ласточка».

Выходила в центр двора или на площадку перед гастрономом, или даже на проезжую часть дороги, и делала «ласточку»: стоя на одной тощей ноге, поднимала другую, наклоняла корпус, разводила в стороны прямые руки, гордо, как флагман нового мира, задирала голову со свалывшимися кудряшками... ну, это известная гимнастическая фигура.

Однажды я заступилась за честь тетьГали. Она, помню, напилась и выступала на проезжей части оживленного шоссе, делала «ласточку» меж двумя потоками несущихся на большой скорости машин. По сторонам шоссе собралась толпа, люди показывали пальцами, хлопали, смеялись. По испитому лицу тетьГали видно было, что она счастлива, она — настоящая артистка, успех, успех! Какая-то приличная женщина в пальто из шерсти модной в том се-

зоне ламы остановилась рядом со мной, вздохнула, покачала головой:

— Ну, до чего люди бессовестные, безжалостные. Над больным человеком смеются.

— Она не больная! — огрызнулась я.

— Как не больная! — ахнула дама. — Настоящая душевнобольная. Сумасшедшая.

— Кто — сумасшедший? — спросила я оскорбленно. — Она сумасшедшая?! Да она поумнее вас будет.

Тогда я, конечно, не догадывалась, что во мне взмыло и затрепетало чувство цеховой солидарности.

Господи, знала бы давно покойная тетяГая, как часто вспоминает ее хмурая девочка из третьего подъезда. Ведь мне, на моих «выступлениях», бывает, и петь приходится, если, конечно, песня попадает в текст рассказа. А может, на старости лет я и до «ласточки» доживу? Кстати, довольно живо себе это представляю.

ТетьГая, добрая, пьяная Мальвина, заступись там за меня, на своих — не сомневаюсь — райских подмостках!

Тому же Игорю Губерману я пожаловалась однажды, что чувствую себя заезженной патефонной пластинкой. Он сказал:

— Старуха, хорошо тебе! Я себя жуликом чувствую.

Кстати, о жуликах. Совсем недавно я обнаружила, что у меня есть конкурент.

Мой сын, охламон и неуч, когда остается без гроша в кармане, тайком приторговывает моими книгами. Он даже подписывает их: «Жилаю щастя. Афтор» (русский язык основательно подзабыл с тех пор, как его привезли сюда в небольшом возрасте).

Одну такую книгу — непроданную — я случайно обнаружила в его рюкзаке, который опорожняла перед стиркой. Был скандал. Я закатывала глаза и кричала: «Будешь торговать ими на моей могиле!!!». В семейных скандалах я обычно являю собой дворовую одесскую фурию.

Потом любопытство (афторское) взяло верх, и я долго допытывалась: где он ловит доверчивых читателей? — хватает за рукава на центральной автобусной станции? Звонит в квартиры, зазывно улыбаясь, как страховой агент? Наконец, потупившись, он раскололся: объяснил, что приставал к пассажирам в автобусах, заводил разговор о литературе, о том, что в наше время, в нашем потребительском обществе интерес к ней сохранился только в среде подлинной интеллигенции. И если человек подхватывал эту песню, интересовался: кого из современных писателей тот предпочитает. Далее, он мне клялся, что каждый пятый предпочитал мои книги. Зато попались три оголтелые теткли, которые, трясясь от ненависти, заявили, что задушили бы меня собственными руками. «Наверное, прототипы...» — удрученно вздохнув, объяснил сын.

Я вообразила лицо какого-нибудь своего читателя в тот момент, когда с благодарной улыбкой он раскрывает